АНТОН ЧЕХОВ

ТЫСЯЧА ОДНА СТРАСТЬ, ИЛИ СТРАШНАЯ НОЧЬ (СБОРНИК)

Антон Чехов

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь (сборник)

«Public Domain»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Чехов А. П.

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь (сборник) /
А. П. Чехов — «Public Domain»,

ISBN 978-5-699-92305-2

Первые шаги в русской литературе Антон Павлович Чехов (1860–1904) делал под псевдонимами Антоша Чехонте и «Человек без селезенки» как автор юмористических рассказов и фельетонов, которые издавали в юмористических московских журналах «Будильник», «Зритель» и др. и в петербургских юмористических еженедельниках «Осколки», «Стрекоза», а впоследствии вошли в первые книги начинающего автора. Именно рассказы и фельетоны из первых книг А. Чехова – «Шалость», «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы» – включены в эту книгу, раскрывающую юмористический талант признанного в мире писателя.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-699-92305-2

© Чехов А. П.
© Public Domain

Содержание

Из книги «Шалость» 5
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь 5
Из сборника 7
Случай из судебной практики 7
Загадочная натура 9
Верба 11
Вор 13
Раз в год 16
Герой-барыня 19
Смерть чиновника 21
Он понял! 23
Дочь Альбиона 29
Шведская спичка 31
Отставной раб 42
Толстый и тонкий 44
Клевета 46
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Антон Чехов
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь (сборник)

Из книги «Шалость»

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь
(Роман в одной части с эпилогом)

Посвящаю Виктору Гюго

На башне Св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни Св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих метеоров. Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.

– Нехорошее предзнаменование! – пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.

Ветер стонал, выл, рыдал… Стон ветра – стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетавшие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающею гармониею стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ. Мы сели в карету и помчались. Кошэ – брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

– Антонио, куда ты меня везешь? – простонал Теодор. – Ты смотришь злым гением… В твоих черных глазах светится ад… Я начинаю бояться…

Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил *ее. Она* любила страстно его… Я должен был убить его, потому что любил больше жизни ее. Я любил *ее* и ненавидел его. Он должен был умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они – духовные вандалы.

– Стой! – сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.

Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка пре-

ступных дочерей Даная. Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли.

– Проклятие!!! – закричал он в ответ на мое проклятие.

Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, – величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

Кошэ. Кошэ – статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – результат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного – четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.

– Анета! – крикнула *она*. – Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! Сходи за ним. Он, наверно, кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела.

– Подите прочь! – закричала она, и ужас исказил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела всё: и смерть Теодора, и демоническую страсть, и тысячу человеческих желаний… Поза моя – было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины – крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй…

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» – сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви Св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с *ней. Она* венчалась со мной. Бедные нас благословляли! *Она* упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодою женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын… и сам я от радости повесился… Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папаша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст – святой возраст. Ничего этого никогда не было… Спокойной ночи!

Из сборника «Пестрые рассказы»

Случай из судебной практики

Дело происходило в N… ском окружном суде, в одну из последних его сессий.

На скамье подсудимых заседал N… ский мещанин Сидор Шельмецов, малый лет тридцати, с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя сему товарищу – легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидный гонорарий, он за собой ведать не ведает: подобен себе подобным. Говорит в нос, буквы «к» не выговаривает, ежеминутно сморкается.

Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат. Этого адвоката знает весь свет. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением…

В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молнии и других не менее внушительных стихий.

Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения; когда он уяснил, убедил и сказал: «Я кончил», – поднялся защитник. Все навострили уши. Воцарилась тишина. Адвокат заговорил и… пошли плясать нервы N… ской публики! Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку, и необъяснимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке… После первых же двух-трех фраз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились, лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз, они вытянулись… А что делалось с сердцами?!

– Мы – люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-человечески! – сказал между прочим защитник. – Прежде чем предстать пред вами, этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны… Да поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца! Их здесь нет, но вы можете себе их представить. (Пауза.) Заключение… Гм… Его посадили рядом с ворами и убийцами… Его! (Пауза.) Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы… Да что говорить?!

В публике послышались всхлипывания… Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка.

Защитник говорил и говорил… Факты он миновал, а напирал больше на психологию.

– Знать его душу – значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир… Изучая его, я, признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека… Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека…

Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из залы еще двух дам. Председатель оставил в покое звонок и надел очки, чтобы не заметили слезинки, навернувшейся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол… Слезы засверкали сквозь его очки.

«Было б мне отказаться от обвинения! – подумал он. – Ведь этакое фиаско потерпеть! А?»

– Взгляните на его глаза! – продолжал защитник (подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа). Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется далеко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват?!

Тут не вынес и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замигал глазами, заплакал и беспокойно задвигался…

– Виноват! – заговорил он, перебивая защитника. – Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать… Каюсь! Во всем виноват!

И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудили.

Загадочная натура

Купе первого класса.

На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый веер трещит в ее судорожно сжатой руке, pince-nez то и дело спадает с ее хорошенького носика, брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована… Против нее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель, помещающий в губернских ведомостях небольшие рассказы или, как сам он называет, «новэллы» – из великосветской жизни… Он глядит ей в лицо, глядит в упор, с видом знатока. Он наблюдает, изучает, улавливает эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимает ее, постигает… Душа ее, вся ее психология у него как на ладони.

– О, я постигаю вас! – говорит чиновник особых поручений, целуя ее руку около браслета. – Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта… Да! Борьба страшная, чудовищная, но… не унывайте! Вы будете победительницей! Да!

– Опишите меня, Вольдемар! – говорит дамочка, грустно улыбаясь. – Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра… Но главное – я несчастна! Я страдалица во вкусе Достоевского… Покажите миру мою душу, Вольдемар, покажите эту бедную душу! Вы – психолог. Не прошло и часа, как мы сидим в купе и говорим, а вы уже постигли меня всю, всю!

– Говорите! Умоляю вас, говорите!

– Слушайте. Родилась я в бедной чиновничьей семье. Отец добрый малый, умный, но… дух времени и среды… vous comprenez[1], я не виню моего бедного отца. Он пил, играл в карты… брал взятки… Мать же… Да что говорить! Нужда, борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества… Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь… Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь… А борьба со средой? Ужасно! А сомнения? А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! Вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймете… К несчастью, я наделена широкой натурой… Я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела свое счастье!

– Чудная! – лепечет писатель, целуя руку около браслета. – Не вас целую, дивная, а страдание человеческое! Помните Раскольникова? Он так целовал.

– О, Вольдемар! Мне нужна была слава… шум, блеск, как для всякой – к чему скромничать? – недюжинной натуры. Я жаждала чего-то необыкновенного… не женского! И вот… И вот… подвернулся на моем пути богатый старик-генерал… Поймите меня, Вольдемар! Ведь это было самопожертвование, самоотречение, поймите вы! Я не могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешествовать, делать добро… А как я страдала, как невыносимы, низменно-пошлы были для меня объятия этого генерала, хотя, надо отдать ему справедливость, в свое время он храбро сражался. Бывали минуты… ужасные минуты! Но меня подкрепляла мысль, что старик не сегодня завтра умрет, что я стану жить, как хотела, отдамся любимому человеку, буду счастлива… А у меня есть такой человек, Вольдемар! Видит бог, есть!

Дамочка усиленно машет веером. Лицо ее принимает плачущее выражение.

– Но вот старик умер… Мне он оставил кое-что, я свободна, как птица. Теперь-то и жить мне счастливо… Не правда ли, Вольдемар? Счастье стучится ко мне в окно. Стоит только впустить его, но… нет! Вольдемар, слушайте, заклинаю вас! Теперь-то и отдаться любимому человеку, сделаться его подругой, помощницей, носительницей его идеалов, быть счастливой… отдохнуть… Но как всё пошло, гадко и глупо на этом свете! Как всё подло, Вольдемар! Я

[1] Вы понимаете *(франц.)*.

несчастна, несчастна, несчастна! На моем пути опять стоит препятствие! Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко! Ах, сколько мук, если б вы знали! Сколько мук!

– Но что же? Что стало на вашем пути? Умоляю вас, говорите! Что же?

– Другой богатый старик…

Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки…

Верба

Кто ездил по почтовому тракту между Б. и Т.?

Кто ездил, тот, конечно, помнит и Андреевскую мельницу, одиноко стоящую на берегу речки Козявки. Мельница маленькая, в два постава… Ей больше ста лет, давно уже она не была в работе, и не мудрено поэтому, что она напоминает собой маленькую, сгорбленную, оборванную старушонку, готовую свалиться каждую минуту. И эта старушонка давно бы свалилась, если бы она не облокачивалась о старую, широкую вербу. Верба широкая, не обхватить ее и двоим. Ее лоснящаяся листва спускается на крышу, на плотину; нижние ветви купаются в воде и стелются по земле. Она тоже стара и сгорблена. Ее горбатый ствол обезображен большим темным дуплом. Всуньте руку в дупло, и ваша рука увязнет в черном меду. Дикие пчелы зажужжат около вашей головы и зажалят. Сколько ей лет? Архип, ее приятель, говорит, что она была старой еще и тогда, когда он служил у барина во «французах», а потом у барыни в «неграх»; а это было слишком давно.

Верба подпирает и другую развалину – старика Архипа, который, сидя у ее корня, от зари до зари удит рыбку. Он стар, горбат, как верба, и беззубый рот его похож на дупло. Днем он удит, а ночью сидит у корня и думает. Оба, старуха-верба и Архип, день и ночь шепчут… Оба на своем веку видывали виды. Послушайте их…

Лет тридцать тому назад, в Вербное воскресенье, в день именин старухи-вербы, старик сидел на своем месте, глядел на весну и удил… Кругом было тихо, как всегда… Слышался только шепот стариков, да изредка всплескивала гуляющая рыба. Старик удил и ждал полдня. В полдень он начинал варить уху. Когда тень вербы начинала отходить от того берега, наступал полдень. Время Архип узнавал еще и по почтовым звонкам. Ровно в полдень через плотину проезжала Т-я почта.

И в это воскресенье Архипу послышались звонки. Он оставил удочку и стал глядеть на плотину. Тройка перевалила через бугор, спустилась вниз и шагом поехала к плотине. Почтальон спал. Въехав на плотину, тройка почему-то остановилась. Давно уже не удивлялся Архип, но на этот раз пришлось ему сильно удивиться. Случилось нечто необыкновенное. Ямщик оглянулся, беспокойно задвигался, сдернул с лица почтальона платок и взмахнул кистенем. Почтальон не пошевельнулся. На его белокурой голове зазияло багровое пятно. Ямщик соскочил с телеги и, размахнувшись, нанес другой удар. Через минуту Архип услышал возле себя шаги: с берега спускался ямщик и шел прямо на него… Его загоревшее лицо было бледно, глаза тупо глядели бог знает куда. Трясясь всем телом, он подбежал к вербе и, не замечая Архипа, сунул в дупло почтовую сумку; потом побежал вверх, вскочил на телегу и, странно показалось Архипу, нанес себе по виску удар. Окровавив себе лицо, он ударил по лошадям.

– Караул! Режут! – закричал он.

Ему вторило эхо, и долго Архип слышал это «караул».

Дней через шесть на мельницу приехало следствие. Сняли план мельницы и плотины, измерили для чего-то глубину реки и, пообедав под вербой, уехали, а Архип во все время следствия сидел под колесом, дрожал и глядел в сумку. Там видел он конверты с пятью печатями. День и ночь глядел он на эти печати и думал, а старуха-верба днем молчала, а ночью плакала. «Дура!» – думал Архип, прислушиваясь к ее плачу. Через неделю Архип шел уже с сумкой в город.

– Где здесь присутственное место? – спросил он, войдя за заставу.

Ему указали на большой желтый дом с полосатой будкой у двери. Он вошел и в передней увидел барина со светлыми пуговицами. Барин курил трубку и бранил за что-то сторожа. Архип подошел к нему и, дрожа всем телом, рассказал про эпизод со старухой-вербой. Чиновник взял в руки сумку, расстегнул ремешки, побледнел, покраснел.

– Сейчас! – сказал он и побежал в присутствие. Там окружили его чиновники… Забегали, засуетились, зашептали… Через десять минут чиновник вынес Архипу сумку и сказал:

– Ты не туда, братец, пришел. Ты иди на Нижнюю улицу, там тебе укажут, а здесь казначейство, милый мой! Ты иди в полицию.

Архип взял сумку и вышел.

«А сумка полегче стала! – подумал он. – Наполовину меньше стала!»

На Нижней улице ему указали на другой желтый дом, с двумя будками. Архип вошел. Передней тут не было, и присутствие начиналось прямо с лестницы. Старик подошел к одному из столов и рассказал писцам историю сумки. Те вырвали у него из рук сумку, покричали на него и послали за старшим. Явился толстый усач. После короткого допроса он взял сумку и заперся с ней в другой комнате.

– А деньги же где? – послышалось через минуту из этой комнаты. – Сумка пуста! Скажите, впрочем, старику, что он может идти! Или задержать его! Отведите его к Ивану Марковичу! Нет, впрочем, пусть идет!

Архип поклонился и вышел. Через день караси и окуни опять уже видели его седую бороду…

Дело было глубокою осенью. Старик сидел и удил. Лицо его было так же мрачно, как и пожелтевшая верба: он не любил осени. Лицо его стало еще мрачней, когда он увидел возле себя ямщика. Ямщик, не замечая его, подошел к вербе и сунул в дупло руку. Пчелы, мокрые и ленивые, поползли по его рукаву. Пошарив немного, он побледнел, а через час сидел над рекой и бессмысленно глядел в воду.

– Где *она*? – спрашивал он Архипа.

Архип сначала молчал и угрюмо сторонился убийцы, но скоро сжалился над ним.

– Я к начальству снес! – сказал он. – Но ты, дурень, не бойся… Я сказал там, что под вербой нашел…

Ямщик вскочил, взревел и набросился на Архипа. Долго он бил его. Избил его старое лицо, повалил на землю, топтал ногами. Побивши старика, он не ушел от него, а остался жить при мельнице, вместе с Архипом.

Днем он спал и молчал, а ночью ходил по плотине. По плотине гуляла тень почтальона, и он беседовал с ней. Наступила весна, а ямщик продолжал еще молчать и гулять. Однажды ночью подошел к нему старик.

– Будет тебе, дурень, слоняться! – сказал он ему, искоса поглядывая на почтальона. – Уходи.

И почтальон то же самое сказал… И верба прошептала то же…

– Не могу! – сказал ямщик. – Пошел бы, да ноги болят, душа болит!

Старик взял под руку ямщика и повел его в город. Он повел его на Нижнюю улицу, в то самое присутствие, куда отдал сумку. Ямщик упал перед «старшим» на колени и покаялся. Усач удивился.

– Чего на себя клепаешь, дурак! – сказал он. – Пьян? Хочешь, чтоб я тебя в холодную засадил? Перебесились все, мерзавцы! Только путают дело… Преступник не найден – ну, и шабаш! Что ж тебе еще нужно? Убирайся!

Когда старик напомнил про сумку, усач захохотал, а писцы удивились. Память, видно, у них плоха… Не нашел ямщик искупления на Нижней улице. Пришлось возвращаться к вербе…

И пришлось бежать от совести в воду, возмутить то именно место, где плавают поплавки Архипа. Утопился ямщик. На плотине видят теперь старик и старуха-верба две тени… Не с ними ли они шепчутся?

Вор

Пробило двенадцать. Федор Степаныч накинул на себя шубу и вышел на двор. Его охватило сыростью ночи… Дул сырой, холодный ветер, с темного неба моросил мелкий дождь. Федор Степаныч перешагнул через полуразрушенный забор и тихо пошел вдоль по улице. А улица широкая, что твоя площадь; редки в Европейской России такие улицы. Ни освещения, ни тротуаров… даже намеков нет на эту роскошь.

У заборов и стен мелькали темные силуэты горожан, спешивших в церковь. Впереди Федора Степаныча шлепали по грязи две фигуры. В одной из них, маленькой и сгорбленной, он узнал здешнего доктора, единственного на весь уезд «образованного человека». Старик-доктор не брезговал знакомством с ним и всегда дружелюбно вздыхал, когда глядел на него. На этот раз старик был в форменной старомодной треуголке, и голова его походила на две утиные головы, склеенные затылками. Из-под фалды его шубенки болталась шпага. Рядом с ним двигался высокий и худой человек, тоже в треуголке.

– Христос воскрес, Гурий Иваныч! – остановил доктора Федор Степаныч.

Доктор молча пожал ему руку и отпахнул кусочек шубы, чтобы похвастать перед *ссыльным* петличкой, в которой болтался «Станислав».

– А я, доктор, после заутрени хочу к вам пробраться, – сказал Федор Степаныч. – Вы уж позвольте мне у вас разговеться… Прошу вас… Я, бывало, *там* в эту ночь всегда в семье разговлялся. Воспоминанием будет…

– Едва ли это будет удобно… – сконфузился доктор. – У меня семейство, знаете ли… жена… Вы хотя и тово… но все-таки не тово… Все-таки предубеждение! Я, впрочем, ничего… Кгм… Кашель…

– А Барабаев? – проговорил Федор Степаныч, кривя рот и желчно ухмыляясь. – Барабаева со мной вместе судили, вместе нас выслали, а между тем он у вас каждый день обедает и чай пьет. Он больше украл, вот что!..

Федор Степаныч остановился и прислонился к мокрому забору: пусть пройдут. Далеко впереди него мелькали огоньки. Потухая и вспыхивая, они двигались по одному направлению.

«Крестный ход, – подумал ссыльный. – Как и *там*, у нас…»

От огоньков несся звон. Колокола-тенора заливались всевозможными голосами и быстро отбивали звуки, точно спешили куда-нибудь.

«Первая Пасха здесь, в этом холоде, – подумал Федор Степаныч, – и… не последняя. Скверно! А *там* теперь, небось…»

И он задумался о «*там*»… Там теперь под ногами не грязный снег, не холодные лужи, а молодая зелень; там ветер не бьет по лицу, как мокрая тряпка, а несет дыхание весны… Небо там темное, но звездное, с белой полосой на востоке… Вместо этого грязного забора зеленый палисадник и его домик с тремя окнами. За окнами светлые, теплые комнаты. В одной из них стол, покрытый белой скатертью, с куличами, закусками, водками…

«Хорошо бы теперь хватить тамошней водки! Здесь дрянная водка, пить нельзя…»

Наутро глубокий, хороший сон, за сном визиты, выпивка… Вспомнил он, разумеется, и Олю с ее кошачьей, плаксивой, хорошенькой рожицей. Теперь она спит, должно быть, и не снится он ей. Эти женщины скоро утешаются. Не будь Оли, не был бы он здесь. Она подкузьмила его, глупца. Ей нужны были деньги, нужны ужасно, до болезни, как и всякой моднице! Без денег она не могла ни жить, ни любить, ни страдать…

– А если меня в Сибирь сошлют? – спросил он ее. – Пойдешь со мной?

– Разумеется! Хоть на край света!

Он украл, попался и пошел в эту Сибирь, а Оля смалодушествовала, не пошла, разумеется. Теперь ее глупая головка утопает в мягкой кружевной подушке, а ноги далеко от грязного снега.

«На суд разодетой явилась и ни разу не взглянула даже… Смеялась, когда защитник острил… Убить мало…»

И эти воспоминания сильно утомили Федора Степаныча. Он утомился, заболел, точно всем телом думал. Ноги его ослабели, подогнулись, и не хватило сил идти в церковь, к родной заутрене… Он воротился домой и, не снимая шубы и сапог, повалился на постель.

Над его кроватью висела клетка с птицей. Та и другая принадлежали хозяину. Птица какая-то странная, с длинным носом, тощая, ему неизвестная. Крылья у нее подрезаны, на голове повырваны перья. Кормят ее какой-то кислятиной, от которой воняет на всю комнату. Птица беспокойно возилась в клетке, стучала носом о жестянку с водой и пела то скворцом, то иволгой…

«Спать не дает! – подумал Федор Степаныч. – Че-ерт…»

Он поднялся и потряс рукой клетку. Птица замолчала. Ссыльный лег и о край кровати стащил с себя сапоги. Через минуту птица опять завозилась. Кусочек кислятины упал на его голову и повис в волосах.

– Ты не перестанешь? Не замолчишь? Тебя еще недоставало!

Федор Степаныч вскочил, рванул с остервенением клетку и швырнул ее в угол. Птица замолчала.

Но минут через десять она, показалось ссыльному, вышла из угла на средину комнаты и завертела носом в глиняном полу… Нос, как буравчик… Вертела, вертела, и нет конца ее носу. Захлопали крылья, и ссыльному показалось, что он лежит на полу и что по его вискам хлопают крылья… Нос, наконец, поломался, и всё ушло в перья… Ссыльный забылся…

– Ты за што это тварь убил, душегубец? – услышал он под утро.

Федор Степаныч раскрыл глаза и увидел пред собой хозяина-раскольника, юродивого старца. Лицо хозяина дрожало от гнева и было покрыто слезами.

– За што ты, окаянный, убил мою пташку? Певунью-то мою за што ты убил, сатана чёртова? А? Кого это ты? За што такое? Глаза твои бесстыжие, пес лютый! Уходи из моего дома, и чтоб духу твоего здесь не было! Сею минутою уходи! Сичас!

Федор Степаныч надел шубу и вышел на улицу. Утро было серое, пасмурное… Глядя на свинцовое небо, не верилось, чтобы высоко за ним могло сиять солнце. Дождь продолжал еще моросить…

– Бон-жур! С праздником, мон-шер! – услышал ссыльный, выйдя за ворота.

Мимо ворот на новенькой пролетке катил его земляк Барабаев. Земляк был в цилиндре и под зонтиком.

«Визиты делает! – подумал Федор Степаныч. – И тут, скотина, сумел примазаться… Знакомых имеет… Было б и мне побольше украсть!»

Подходя к церкви, Федор Степаныч услыхал другой голос, на этот раз женский. Навстречу ему ехал почтовый тарантас, набитый чемоданами. Из-за чемоданов выглядывала женская головка.

– Где здесь… Батюшки, Федор Степаныч! Вы ли это? – запищала головка.

Ссыльный подбежал к тарантасу, впился глазами в головку, узнал, схватил за руку…

– Неужели я не сплю?! Что такое? Ко мне?! Надумала, Оля?

– Где здесь Барабаев живет?

– А на что тебе Барабаев?

– Он меня выписал… Две тысячи, вообрази, прислал… По триста в месяц, кроме того, буду получать. Есть здесь театры?..

До самого вечера шатался ссыльный по городу и искал квартиры. Дождь лил весь день, и не показывалось солнце.

«Неужели эти звери могут жить без солнца? – думал он, меся ногами жидкий снег. – Веселы, довольны без солнца! Впрочем, у них свой вкус».

Раз в год

Маленький трехоконный домик княжны имеет праздничный вид. Он помолодел точно. Вокруг него тщательно подметено, ворота открыты, с окон сняты решетчатые жалюзи. Свежевымытые оконные стекла робко заигрывают с весенним солнышком. У парадной двери стоит швейцар Марк, старый и дряхлый, одетый в изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычищенные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выполз из своей каморки недаром. Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам и выкрикивать их имена. В передней пахнет не кофейной гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано. Повешены гардины, снята кисея с картин, навощены потертые, занозистые полы. Злая Жулька, кошка с котятами и цыплята заперты до вечера в кухню.

Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколотая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость! Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть: барон Трамб с сыном, князь Халахадзе, камергер Бурластов, кузен генерал Битков и многие другие… человек двадцать! Они приедут и наполнят ее гостиную говором. Князь Халахадзе споет что-нибудь, а генерал Битков два часа будет просить у нее розу… А она знает, как держать себя с этими господами! Неприступность, величавость и грация будут сквозить во всех ее движениях… Приедут, между прочим, купцы Хтулкин и Переулков: для этих господ положены в передней лист бумаги и перо. Каждый сверчок знай свой шесток. Пусть распишутся и уйдут…

Двенадцать часов. Княжна поправляет платье и розу. Она прислушивается: не звонит ли кто? С шумом проезжает экипаж, останавливается. Проходят пять минут.

«Не к нам!» – думает княжна.

Да, не к вам, княжна! Повторяется история прошлых годов. Безжалостная история! В два часа княжна, как и в прошлом году, идет к себе в спальную, нюхает нашатырный спирт и плачет.

– Никто не приехал! Никто!

Около княжны суетится старый Марк. Он не менее огорчен: испортились люди! Прежде валили в гостиную, как мухи, а теперь…

– Никто не приехал! – плачет княжна. – Ни барон, ни князь Халахадзе, ни Жорж Бувицкий… Оставили меня! А ведь не будь меня, что бы из них вышло? Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой – только мне. Без меня из них ничего бы не вышло.

– Не вышло бы-с! – поддакивает Марк.

– Я не прошу благодарности… Не нужна она мне! Мне нужно чувство! Боже мой, как обидно! Даже племянник Жан не приехал. Отчего он не приехал? Что я ему худого сделала? Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека. Дорого мне стоит этот Жан! Я сдержала слово, данное моему брату, его отцу… Я истратила на него… сам знаешь…

– И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо родителей были.

– И вот… вот она благодарность! О люди!

В три часа, как и в прошлом году, с княжной делается истерический припадок. Встревоженный Марк надевает свою шляпу с галунами, долго торгуется с извозчиком и едет к племяннику Жану. К счастью, меблированные комнаты, в которых обитает князь Жан, не слишком далеко… Марк застает князя валяющимся на кровати. Жан только что воротился со вчерашней попойки. Его помятое мордастое лицо багрово, на лбу пот. В голове его шум, в желудке

революция. Он рад бы уснуть, да нельзя: мутит. Его скучающие глаза устремлены на рукомойник, наполненный доверху сором и мыльной водой.

Марк входит в грязный номер и, брезгливо пожимаясь, робко подходит к кровати.

– Нехорошо-с, Иван Михалыч! – говорит он, укоризненно покачивая головой. – Нехорошо-с!

– Что нехорошо?

– Почему вы сегодня не пожаловали вашу тетушку с ангелом поздравить? Нешто это хорошо?

– Убирайся к чёрту! – говорит Жан, не отрывая глаз от мыльной воды.

– Нешто это тетушке не обидно? А? Эх, Иван Михалыч, ваше сиятельство! Чувств у вас никаких нету! Ну с какой стати вы их огорчаете?

– Я не делаю визитов… Так и скажи ей. Этот обычай давно уже устарел… Некогда нам разъезжать. Разъезжайте сами, коли делать вам нечего, а меня оставьте. Ну, проваливай! Спать хочу…

– Спать хочу… Лицо-то небось воротите! Стыдно в глаза глядеть!

– Ну… тсс… Дрянь ты этакая! Паршак!

Продолжительное молчание.

– А уж вы, батюшка, съездите, поздравьте! – говорит Марк ласково. – Оне плачут, мечутся на постельке… Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение… Съездите, батюшка!

– Не поеду. Незачем и некогда… Да и что я буду делать у старой девки?

– Съездите, ваше сиятельство! Уважьте, батюшка! Сделайте такую милость! Страсть как огорчены оне вашею, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием!

Марк проводит рукавом по глазам.

– Сделайте милость!

– Гм… А коньяк будет? – говорит Жан.

– Будет, батюшка, ваше сиятельство!

Князь подмигивает глазом.

– Ну, а сто рублей будет? – спрашивает он.

– Никак это невозможно! Самим вам небезызвестно, ваше сиятельство, капиталов у нас уж нет тех, что были… Разорили нас родственники, Иван Михалыч. Когда были у нас деньги, все хаживали, а теперь… Божья воля!

– В прошлом году я за визит с вас… сколько взял? Двести рублей взял. А теперь и ста нет? Шутки шутишь, ворона! Поройся-ка у старухи, найдешь… Впрочем, убирайся. Спать хочу.

– Будьте так благодушны, ваше сиятельство! Стары оне, слабы… Душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михалыч, ваше сиятельство!

Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фрак и едет к княжне…

– Ma tante[2], – говорит он, прижимаясь к ее руке.

И, севши на софу, он начинает прошлогодний разговор.

– Мари Крыскина, ma tante, получила письмо из Ниццы… Муженек-то! А? Каков? Очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одним англичанином из-за какой-то певицы… забыл ее фамилию…

– Неужели?

Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешанным с долею ужаса, повторяет:

– Неужели?

---

[2] Тетушка *(франц.)*.

– Да… На дуэлях дерется, за певицами бегает, а тут жена… чахни и сохни по его милости… Не понимаю таких людей, ma tante!

Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается… Подается чай с коньяком.

И в то время как счастливая княжна, слушая Жана, хохочет, ужасается, поражается, старый Марк роется в своих сундучках и собирает кредитные бумажки. Князь Жан сделал большую уступку. Ему нужно заплатить только пятьдесят рублей. Но, чтобы заплатить эти пятьдесят рублей, нужно перерыть не один сундучок!

Герой-барыня

Лидия Егоровна вышла на террасу пить утренний кофе. Время было уже близко к жаркому и душному полудню, однако это не помешало моей героине нарядиться в черное шёлковое платье, застегнутое у самого подбородка и тисками сжимавшее талию. Она знала, что этот черный цвет идет к ее золотистым кудряшкам и строгому профилю, и расставалась с ним только ночью. Когда она сделала первый глоток из своей китайской чашечки, к террасе подошел почтальон и подал ей письмо. Письмо было от мужа: «Дядя не дал ни гроша, и твое имение продано. Ничего не поделал…» Лидия Егоровна побледнела, покачнулась на стуле и продолжала читать: «Уезжаю месяца на два в Одессу по важному делу. Целую».

– Разорены! На два месяца в Одессу… – простонала Лидия Егоровна. – К своей, значит, поехал… Боже мой!

Она подкатила глаза, зашаталась, ухватилась рукой за перила и готова уже была упасть, как послышались внизу голоса. На террасу взбирался ее сосед по даче и кузен, отставной генерал Зазубрин, старый, как анекдот о собаке Каквасе, и хилый, как новорожденный котенок. Он ступал еле-еле, осторожно, перебирая палкой ступени, словно боясь за их прочность. За ним семенил маленький бритый старичок, отставной профессор Павел Иванович Кнопка, в большом стародавнем цилиндре с широкими приподнятыми полями. Генерал, по обыкновению, был весь в пуху и крошках, а профессор поражал белизною своих одежд и гладкостью подбородка. Оба сияли.

– А мы к вам, шарманочка! – продребезжал генерал, довольный тем, что сумел по-своему переделать слово «charmante»[3]. – С добрым утром, фея! Фея пьет кофея…

Генерал сострил глупо, но Кнопка и Лидия Егоровна расхохотались. Моя героиня отдернула от перил руку, вытянулась и, бесконечно улыбаясь, протянула к гостям обе руки. Те облобызали и сели.

– Вы, кузен, вечно веселы! – начала кузина гостинный разговор. – Счастливый характер!

– Как, бишь, я сказал? Ах, да! Фея пьет кофея… Ха-ха-ха. А мы с герром профессором уж выкупались, позавтракали и визиты делаем… Беда мне с этим профессором! Жалуюсь вам, фея! Беда! Собираюсь его под суд отдать! Хе-хе-хе… Либерал! Вольтер, можно сказать!

– Что вы?! – улыбнулась Лидия Егоровна и подумала: «В Одессу на два месяца… к той…»

– Честное слово! Такие идеи проповедует… такие идеи! Совсем красный! А знаете ли вы, Павел Иванович, друг мой, кто красному рад? Знаете кто? Хххе… Ответьте-ка! Вот вам и запятая, либералам!

– Каков генерал? – захохотал Кнопка, кривя свой ученый подбородок. – И мы, ваше превосходительство, сумеем вам, консерваторам, запятую поставить: одни только быки боятся красного! Ха-ха-ха… Что, съели-с?

– Однако! Что вижу! У вас цветут олеандры! – послышался внизу террасы женский голос, и через минуту на террасу входила княгиня Дромадерова, соседка по даче. – Ах! У вас мужчины, а я такая растрепка! Извините, пожалуйста! О чем вы тут? Продолжайте, генерал, я не помешаю…

– Мы о красном-с! – продолжал Зазубрин. – А вот-с, кстати, о быках… Вы это верно, Павел Иванович, насчет быков! Раз в Грузии, где я баталионом командовал, бык увидал мою красную подкладку, испугался и полетел на меня… рогами прямо… Саблю пришлось обнажить. Честное слово! Спасибо, казак близко был и пикой его, каналью, отогнал… Чего вы смеетесь? Не верите? Ей-богу, отогнал…

---

[3] Прелестная *(франц.)*.

Лидия Егоровна изумилась, ахнула и подумала: «В Одессе теперь… развратник!»

Кнопка заговорил о быках и буйволах. Княгиня Дромадерова заявила, что всё это скучно. Заговорили о красной подкладке…

– Касательно этой подкладки у меня в памяти случай есть, – сказал Зазубрин, обсасывая сухарик. – Был у меня в баталионе полковничек, некий Конвертов, Петр Петрович… Старичок славный такой, добром его помянуть, простачок, басенник… Из простых солдафонов в высшие чины вышел, за заслуги особенные… В боях был. Любил я его, покойника. Лет ему семьдесят было, когда его в полковники произвели, на лошадь уж не умел садиться и подагрой его ломало во все корки. Вынет, бывало, на маневрах саблю из ножен, а вложить ее уже не может, ординарец вкладывал… Расстегнется, извините, а застегнуться уж и не может… И у этого расслабленника мечта в голове была генералом быть. Стар, слаб, помирать собирается, а мечтает… натура, значит, такая… воин! И в отставку не хотел из-за генеральства… Прослужил лет пять в полковниках, представили его… И что ж вы думаете? А? Вот судьба! Трах его паралич в самый тот раз, когда производство вышло… Отняло ему, сердяге, левую щеку и правую руку, да ноги поослабли сильно… Поневоле пришлось в отставку выйти и не довелось литых погонов носить честолюбцу! Взял отставку и поехал со своей старухой в Тифлис на покой. Едет, плачет и смеется, что его ямщик превосходительством обзывает. Одна щека плачет и смеется, а другая недвижима, как монумент. Одно только утешение осталось ему: красная подкладка. Идет по Тифлису, растопыривает фалды, как крылья, и показывает публике красноту. Знай, мол, кого видишь! Целый день по городу шкандыляет и хвастает подкладкой… Только и было у него, друга, радостей. В баню пойдет и разложит пальто на лавке подкладкой вверх… Утешался, утешался как малый дитё, да и ослеп от старости. Наняли ему человека по городу его водить и подкладку показывать… Идет слепенький, седенький, еле-еле телепкается, о воздух спотыкается, а у самого на лице гордыня написана! Зима лютая, холод, а у него пальто нараспашку… Чудачок! Скоро за тем померла у него старушка. Хоронит ее, ноет, в могилку к ней просится и подкладку духовенству показывает. Приставили к нему другую особу, вдовицу какую-то, чтоб поберегла… А вдовица, известное дело, знает свою долю лучше хозяйской. Скопидомка… Сахарку припрячет, чайку там, копеечку… Кругом его ощипала. Щипала-щипала, ерзала-ерзала подлая баба, да и дошла до апофеоза! Взяла, стервоза, да и отпорола его красную подкладку себе на кофту, а вместо красной подкладки серенькую сарпинку подшила. Идет мой Петр Петрович, выворачивает перед публикой свое пальто, а сам, слепенький, и не видит, что у него вместо генеральской подкладки сарпинка с крапушками!..

Дромадерова нашла, что всё это очень скучно, и заговорила о сыне-поручике. Перед обедом явились соседки – девицы Клянчины с maman. Они сели за рояль и запели любимую песню Зазубрина. Сели обедать.

– Отличный редис! – заметил профессор. – Где вы такой покупаете?

– Он теперь в Одессе… с этой женщиной! – ответила Лидия Егоровна.

– Что-с?

– Ах… Я не о том! Не знаю, где повар берет… Что это со мной?

И Лидия Егоровна, закинув назад голову, захохотала над своей рассеянностью… После обеда пришла толстая профессорша с детьми. Сели за карты. Вечером приезжали гости из города…

Только в ночь, проводив последнего гостя и простояв неподвижно, пока не перестали слышаться его шаги, Лидия Егоровна могла ухватиться одной рукой за те же перила, покачнуться и зарыдать.

– Мало того, что прокутил! Ему мало этого! Он еще изменил!

Из глаз вырвались на свободу горячие слезы, и бледное лицо исказилось отчаянием. Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать!

Чёрт знает на что уходит иногда силища!

Смерть чиновника

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг… В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось… он отвел от глаз бинокль, нагнулся и… апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицеймейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! – подумал Червяков. – Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

– Извините, ваше-ство, я вас обрызгал… я нечаянно…

– Ничего, ничего…

– Ради бога, извините. Я ведь… я не желал!

– Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

– Я вас обрызгал, ваше-ство… Простите… Я ведь… не то чтобы…

– Ах, полноте… Я уж забыл, а вы всё о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, – подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. – И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал… что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

– А все-таки ты сходи, извинись, – сказала она. – Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

– То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно… Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить… Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

– Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, – начал докладывать экзекутор, – я чихнул-с и… нечаянно обрызгал… Изв…

– Какие пустяки… Бог знает что! Вам что угодно? – обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! – подумал Червяков, бледнея. – Сердится, значит… Нет, этого нельзя так оставить… Я ему объясню…»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

– Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

– Да вы просто смеетесь, милостисдарь! – сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? – подумал Червяков. – Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Чёрт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

– Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, – забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, – не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с… а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам… не будет…

– Пошел вон!! – гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

– Что-с? – спросил шёпотом Червяков, млея от ужаса.

– Пошел вон!! – повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся… Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и… помер.

Он понял!

Душное июньское утро. В воздухе висит зной, от которого клонится лист и покрывается трещиной земля. Чувствуется тоска за грозой. Хочется, чтобы всплакнула природа и прогнала дождевой слезой свою тоску.

Вероятно, и будет гроза. На западе синеет и хмурится какая-то полоска. Добро пожаловать!

По опушке леса крадется маленький сутуловатый мужичонок, ростом в полтора аршина, в огромнейших серо-коричневых сапогах и синих панталонах с белыми полосками. Голенища сапог спустились до половины. Донельзя изношенные, заплатанные штаны мешками отвисают у колен и болтаются, как фалды. Засаленный веревочный поясок сполз с живота на бедра, а рубаху так и тянет вверх к лопаткам.

В руках мужичонка ружье. Заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самоделковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. Не будь этого приклада, ружье не было бы похоже на ружье, да и с ним оно напоминает что-то средневековое, не теперешнее… Курок, коричневый от ржавчины, весь опутан проволокой и нитками. А всего смешнее белый лоснящийся шомпол, только что срезанный с вербы. Он сыр, свеж и много длиннее ствола.

Мужичонок бледен. Его косые, воспаленные глазки беспокойно глядят вверх и по сторонам. Жиденькая, козлиная бородка дрожит, как тряпочка, вместе с нижней губой. Он широко шагает, нагибает туловище вперед и, видимо, спешит. За ним, высунув свой длинный, серый от пыли язык, бежит большая дворняга, худая, как собачий скелет, с всклокоченной шерстью. На ее боках и хвосте висят большие клочья старой, отлинявшей шерсти. Задняя нога повязана тряпочкой: болит, должно быть. Мужичонок то и дело оборачивается к своему спутнику.

– Пшла! – говорит он пугливо.

Дворняга отскакивает назад, оглядывается и, постояв немного, продолжает шествовать за своим хозяином.

Охотник рад бы шмыгнуть в сторону, в лес, но нельзя: по краю стеной тянется густой колючий терновник, а за терновником высокий душный болиголов с крапивой. Но вот, наконец, тропинка. Мужичонок еще раз машет собаке и бросается по тропинке в кусты. Под ногами всхлипывает почва: тут еще не высохло. Пахнет сырьем и менее душно. По сторонам кусты, можжевельник, а до настоящего леса еще далеко, шагов триста.

В стороне что-то издает звук неподмазанного колеса. Мужичонок вздрагивает и косится на молодую ольху. На ольхе усматривает он черное подвижное пятнышко, подходит ближе и узнает в пятнышке молодого скворца. Скворец сидит на ветке и глядит себе под поднятое крылышко. Мужичонок топчется на одном месте, сбрасывает с себя шапку, прижимает к плечу приклад и начинает прицеливаться. Прицелившись, он поднимает курок и придерживает его, чтобы он не опустился раньше, чем следует. Пружина испорчена, собачка не действует, а курок не слушается: ходнем ходит. Скворец опускает крыло и начинает подозрительно поглядывать на стрелка. Еще секунда – и он улетит. Стрелок еще раз прицеливается и отнимает руку от курка. Курок, сверх ожидания, не опускается. Мужичонок разрывает ногтем какую-то ниточку, гнет проволочку и дает курку щелчок. Слышится щелканье, а за щелканьем выстрел. Стрелку сильно отдает в плечо. Видно, что он не пожалел пороха. Бросив наземь ружье, он бежит к ольхе и начинает шарить в траве. Около гнилого, заплесневелого сучка он находит кровяное пятно и пушок, а поискав еще немного, узнает в маленьком, еще горячем трупе, лежащем у самого ствола, свою жертву.

– В голову попал! – говорит он с восторгом дворняге.

Дворняга нюхает скворца и видит, что хозяин попал не в одну только голову. На груди зияет рана, перебита одна ножка, на клюве висит большая кровяная капля…

Мужичонок быстро лезет в карман за новым зарядом, причем из кармана сыплются на траву тряпочки, бумажки, ниточки. Он заряжает ружье и, готовый продолжать свою охоту, идет далее.

Как из земли вырастает перед ним поляк Кржевецкий, господский приказчик. Мужичонок видит его надменно-строгое, рыжеволосое лицо и холодеет от ужаса. Шапка сама собой валится с его головы.

– Вы что же это? Стреляете? – говорит поляк насмешливым голосом. – Очень приятно!

Охотник робко косится в сторону и видит воз с хворостом и около воза мужиков. Увлекшись охотой, он и не заметил, как набрел на людей.

– Как же вы смеете стрелять? – спрашивает Кржевецкий, возвышая голос. – Это, стало быть, ваш лес? Или, быть может, по-вашему, уже прошел Петров день? Вы кто такой?

– Павел Хромой, – еле-еле выговаривает мужичонок, прижимая к себе ружье. – Из Кашиловки.

– Из Кашиловки, чёрт побрал! Кто же позволял вам стрелять? – продолжает поляк, стараясь не делать ударения на втором слоге от конца. – Дайте сюда ружье!

Хромой подает поляку ружье и думает:

«Лучше б ты меня по морде, чем выкать…»

– И шапку давайте…

Хромой подает и шапку.

– Вот я вам покажу, как стрелять! Чёрт побрал! Пойдемте!

Кржевецкий поворачивается к нему спиной и шагает за заскрипевшим возом. Павел Хромой, ощупывая в кармане свою дичину, идет за ним.

Через час Кржевецкий и Хромой входят в просторную комнату с низким потолком и синими полинялыми стенами. Это господская контора. В конторе никого нет, но тем не менее сильно пахнет жильем. Посреди конторы – большой дубовый стол. На столе две-три счетные книги, чернильница с песочницей и чайник с отбитым носиком. Всё это покрыто серым слоем пыли. В углу стоит большой шкаф, с которого давно уже слезла краска. На шкафу жестянка из-под керосина и бутыль с какою-то смесью. В другом углу маленький образ, затянутый паутиной…

– Надо будет акт составить, – говорит Кржевецкий. – Сейчас барину доложу и за урядником пошлю. Снимайте сапоги!

Хромой садится на пол и молча, дрожащими руками стаскивает с себя сапоги.

– Вы у меня не уйдете, – говорит приказчик, зевая. – А уйдете босиком, хуже будет. Сидите здесь и дожидайтесь, пока урядник придет…

Поляк запирает в шкаф сапоги и ружье и выходит из конторы.

По уходе Кржевецкого Хромой долго и медленно чешет свой маленький затылок, точно решает вопрос – где он. Он вздыхает и пугливо осматривается. Шкаф, стол, чайник без носика и образок глядят на него укоризненно, тоскливо… Мухи, которыми так изобилуют господские конторы, жужжат над его головой так жалобно, что ему делается нестерпимо жутко.

– Дззз… – жужжат мухи. – Попался? Попался?

По окну ползет большая оса. Ей хочется вылететь на воздух, но не пускает стекло. Ее движения полны скуки, тоски… Хромой пятится к двери, становится у косяка и, опустив руки по швам, задумывается…

Проходит час, другой, а он стоит у косяка, ждет и думает.

Глаза его косятся на осу.

«Отчего она, дура, в дверь не летит?» – думает он.

Проходит еще два часа. Кругом всё тихо, беззвучно, мертво… Хромому начинает думаться, что про него забыли и что ему не скоро еще вырваться отсюда, как и осе, которая всё еще, то и дело, падает со стекла. Оса уснет к ночи, – ну, а ему-то как быть?

– Так вот и люди, – философствует Хромой, глядя на осу. – Так и человек, стало быть… Есть место, где ему на волю выскочить, а он по невежеству и не знает, где оно, место-то это самое…

Наконец где-то хлопают дверью. Слышатся чьи-то поспешные шаги, и через минуту в контору входит маленький, толстенький человечек в широчайших брюках и помочах. Он без сюртука и без жилетки. На спине в уровень с лопатками идет полоса от пота; на груди такая же полоса. Это сам барин, Петр Егорыч Волчков, отставной подполковник. Толстое, красное лицо и вспотевшая лысина говорят, что он дорого бы дал, если бы вместо этой жары пристукнул крещенский мороз. Он страдает от зноя и духоты. По заплывшим, сонным глазам видно, что он только что поднялся со своей ужасно мягкой и душной перины.

Войдя, он прохаживается несколько раз вдоль по комнате, как бы не замечая Хромого, потом останавливается перед пленником и долго, пристально смотрит ему в лицо. Смотрит в упор, с презрением, которое сначала светится чуть заметно в одних только глазках, потом же постепенно разливается по всему жирному лицу. Хромой не выносит этого взгляда и опускает глаза. Ему стыдно…

– Покажи-ка, что ты убил! – шепчет Волчков. – Ну-кася, покажи, молодчик, Вильгельм Тель! Покажи, образина!

Хромой лезет в карман и достает оттуда несчастного скворца. Скворец уже потерял свой птичий образ. Он сильно помят и начинает сохнуть. Волчков презрительно усмехается и пожимает плечами.

– Дурак! – говорит он. – Дурандас ты! Дурында пустоголовая! И тебе не грех? И тебе не стыдно?

– Стыдно, батюшка Петр Егорыч! – говорит Хромой, пересиливая глотательные движения, мешающие ему говорить…

– Мало того, что ты, разбойник-июда, без спроса в моем лесу охотишься, ты смеешь еще идти против государственных законов! Разве тебе не известен закон, возбраняющий несвоевременную охоту? В законе сказано, чтобы никто не смел стрелять до Петрова дня. Тебе это не известно? Подойди-ка сюда!

Волчков подходит к столу; за ним идет к тому же столу и Хромой. Барин раскрывает книгу, долго перелистывает и начинает читать высоким протяжным тенором статью, возбраняющую охоту до Петрова дня.

– Так ты этого не знаешь? – спрашивает барин, окончив чтение.

– Как не знать? Знаем, ваше высокоблагородие. Да нешто мы понимаем? Нешто в нас есть понятие?

– А? Какое же тут понятие, ежели ты безо всякого смысла тварь божию портишь? Птичку вот эту убил. За что ты ее убил? Ты ее нешто можешь воскресить? Можешь, я тебя спрашиваю?

– Не могу, батюшка!

– А убил… И какая из этой птицы корысть, не понимаю! Скворец! Ни мяса, ни перья… Так… Взял себе да сдуру и убил…

Волчков щурит глаза и начинает выпрямлять у скворца перебитую ножку. Ножка отрывается и падает на босую ногу Хромого.

– Анафема ты, анафема! – продолжает Волчков. – Жада ты, хищник! От жадности ты этот поступок сделал! Видит пташку, и ему досадно, что пташка по воле летает, бога прославляет! Дай, мол, ее убью и… сожру… Жадность человеческая! Видеть тебя не могу! Не гляди и ты на меня своими глазами! Косая ты шельма, косая! Ты вот убил ее, а у нее, может быть, маленькие деточки есть… Пищат теперь…

Волчков делает плаксивую гримасу и, опустив руку к земле, показывает, как малы могут быть деточки…

– Не от жадности это я сделал, Петр Егорыч, – оправдывается дрожащим голосом Хромой.

– От чего же? Известно, от жадности!

– Никак нет, Петр Егорыч… Ежели я взял грех на душу, то не от жадности, не из корысти-с, Петр Егорыч! Нечистый попутал…

– Таковский ты, чтоб тебя нечистый попутал! Сам ты нечистого попутать можешь! Все вы, кашиловские, разбойники!

Волчков с сопеньем выпускает из груди струю воздуха, вбирает в себя новую порцию и продолжает, понизив голос:

– Что ж мне теперь с тобой делать? А? Принимая во внимание твое умственное убожество, тебя отпустить бы следовало; соображаясь же с поступком и твоею наглостью, тебе задать надо… Непременно надо… Довольно уж вас баловать… До-воль-но! Послал за урядником… Акт сейчас составим… Послал… Улика налицо… Пеняй на себя… Не я тебя наказываю, а тебя твой грех наказывает… Умел грешить, сумей и наказание претерпеть… Охо-хоххх… Господи, прости нас грешных! Беда с этими… Ну, как у вас яровое?..

– Ничего… милости господни…

– Чего же ты глазами моргаешь?

Хромой конфузливо кашляет в кулак и поправляет поясок.

– Чего глазами моргаешь? – повторяет Волчков. – Ты скворца убил, ты же и плакать собираешься?

– Ваше высокоблагородие! – говорит Хромой дребезжащей фистулой, громко, как бы собравшись с силами. – Вам, по вашему человеколюбию, обидно за то, что я птаху, положим, убил… Укоряете вы меня, это самое, не потому, стало быть, что вы барин есть, а потому, что обидно… по вашему человеколюбию… А мне нешто не обидно? Я человек глупый, хоть и без понятия, а и мне… обидно-с… Разрази господи…

– Так зачем же ты стрелял, ежели тебе обидно?

– Нечистый попутал. Дозвольте мне рассказать, Петр Егорыч! Я чистую правду, как перед богом… Пущай урядник наезжает… Мой грех, я за него и ответчик перед богом и судом, а вам всю сущую правду, как на духу… Дозвольте, ваше высокоблагородие!

– Да что мне позволять? Позволяй там или не позволяй, а всё умного не скажешь. Мне что? Не я буду составлять… Говори! Чего же молчишь? Говори, Вильгельм Тель!

Хромой проводит рукавом по дрожащим губам. Глаза его делаются еще косее и мельче…

– Никакого мне антиресу нет от этого скворца, – говорит он. – Будь их, скворцов, хоть тыща, да что с них толку? Ни продашь, ни съешь, так только… пустяк один. Сами можете понимать…

– Нет, не говори… Ты охотник вот, а не понимаешь… Скворец, ежели поджаренный, в каше хорош… И соус можно… Как рябчик – один вкус почти…

И, как бы спохватившись за свой равнодушный тон, Волчков хмурится и добавляет:

– Узнаешь сейчас, какого он вкуса… Увидишь…

– Не разбираем мы вкусов… Был бы хлеб, Петр Егорыч… Самим небезызвестно… А убил скворца от тоски… Тоска прижала…

– Какая тоска?

– А нечистый знает, какая она! Дозвольте вам объяснить. Зачала она мучить меня с самой Святой, тоска-то эта… Дозвольте вам объяснить… Выхожу это я, значит, утром после заутрени, как пасхи освятили, и иду себе… Наши бабы впереди пошли, а я позади иду. Шел, шел да и остановился на плотине… Стою и смотрю на свет божий, как всё в нем происходит, как всякая тварь и былинка, можно сказать, свое место знает… Утро рассвело и солнышко всхо-

дит… Вижу всё это, радуюсь и на пташек гляжу, Петр Егорыч. Вдруг у меня в сердце что-то: ёк! Екнуло, стало быть…

– Отчего же это?

– Оттого, что пташек увидал. Сейчас же мне в голову и мысль пришла. Хорошо бы, думаю, пострелять, да жалко, закон не приказывает. А тут еще в поднебесье две уточки пролетели, да куличок прокричал где-тось за речкой. Страсть как охоты захотел! С этаким воображением и домой пришел. Сижу, разговляюсь с бабами, а у самого в глазах пташки. Ем и слышу, как лес шумит и пташка кричит: цвиринь! цвиринь! Ах ты, господи! Хочется мне на охоту, да и шабаш! А водки как выпил, разговлямшись, так и совсем шальной стал. Голоса стал слышать. Слышно мне, как какой-то тоненький, словно как будто андельский, голосочек звенит тебе в ухе и рассказывает: поди, Пашка, постреляй! Наваждение! Могу предположить, ваше высокоблагородие, Петр Егорыч, што это самое чертененок, а не кто другой. И так сладко и тоненько, словно дите. С того утра и взяла меня, это самое, тоска. Сижу на призбе, опущу руки, как дурной, да и думаю себе… Думаю, думаю… И всё у меня в воображении братец ваш, покойник, Сергей, стало быть, Егорыч, царство им небесное. Вспоминалось мне, глупому, как я с ними, с покойничком, на охоту хаживал. Я у ихнего высокоблагородия, дай им бог… в наипервейших охотниках состоял. Занимательно и трогательно им было, что я, косой на оба глаза, стрелять был артист! Хотели в город везти докторам показывать мою способность при моем безобразии-с. Удивительно и чувствительно оно было, Петр Егорыч. Выйдем мы, бывалыча, чуть свет, кликнем собак Кару и Ледку, да… аах! Верст тридцать в день проходим! Да что говорить! Петр Егорыч! Батюшка благородный! Истинно вам говорю, что окроме вашего братца во всем свете нет и не было человека настоящего! Жестокий они были человек, грозный, строптивый, но никто супротив него по охотничьей части устоять не мог! Его сиятельство, граф Тирборк, бился-бился со своею охотой, да так и помер завидуючи. Куда ему! И красоты той не было, и ружья такого в руках держать не приходилось, как у вашего братца!

Двустволка, извольте понимать, марсельская, фабрики Лепелье и компании. На двести шагов-с! Утку! Шутка сказать!

Хромой быстро вытирает губы и, мигая косыми глазами, продолжает:

– От них я и тоску эту самую получил. Как нет стрельбы, так и беда – за сердце душит!

– Баловство!

– Никак нет, Петр Егорыч! Всю Святую неделю как шальной ходил, не пил, не ел. На Фоминой почистил ружье, поисправил – отлегло малость. На Преполовенье опять затошнило. Тянет да и тянет на охоту, хоть ты тресни тут. Водку ходил пить – не помогает, еще того хуже. Не баловство-с! После водосвятья напился… Назавтра тоска пуще прежнего… Ломит тебя да из избы гонит… Так и гонит, так и гонит! Сила! Взял я ружье, вышел с ним на огород и давай галок стрелять! Набил их штук с десять, а самому не легче: в лес тянет… к болоту. Да и старуха срамить начала: «Галок нешто можно стрелять? Птица она неблагородная, и перед богом грех: неурожай будет, ежели галку убьешь». Взял, Петр Егорыч, и разбил ружье… Шут с ним! Отлегло…

– Баловство!

– Не баловство-с! Истинно вам говорю, что не баловство, Петр Егорыч! Дозвольте уж вам объяснить… Просыпаюсь вчера ночью. Лежу и думаю… Баба моя спит, и не с кем мне слово вымолвить. «А можно ли мое ружье таперича починить али нет?» – думаю. Встал да и давай починять.

– Ну?

– Ну, и ничего… Починил да выбежал с ним, как оглашенный. Поймался вот… Туда мне и дорога… Птицу эту саму взять да и по морде, чтобы понимал…

– Сейчас урядник придет… Ступай в сени!

– Пойду-с… И на духу каялся… Батюшка, отец Пётра, тоже сказывает, что баловство… А по моему глупому предположению, как я это дело понимаю, это не баловство, а болесть… Всё одно как запой… Один шут… Ты не хочешь, а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед образом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! выпей! Пил, знаю…

Красный нос Волчкова делается багровым.

– Запой – другое дело, – говорит он.

– Одинаково-с! Разрази бог, одинаково-с! Истинно вам говорю!

И молчание… Молчат минут пять и друг на друга смотрят.

Багровый нос Волчкова делается темно-синим.

– Одно слово-с – запой… Сами изволите понимать по человеколюбию своему, какая это слабость есть.

Не по человеколюбию понимает подполковник, а по опыту.

– Ступай! – говорит он Хромому.

Хромой не понимает.

– Ступай и больше не попадайся!

– Сапожки пожалуйте-с! – говорит понявший и просиявший мужичонок.

– А где они?

– В шкафе-с…

Хромой получает свою обувь, шапку и ружье. С легкой душою выходит он из конторы, косится вверх, а на небе уж черная, тяжелая туча. Ветер шалит по траве и деревьям. Первые брызги уже застучали по горячей кровле. В душном воздухе делается всё легче и легче.

Волчков пихает изнутри окно. Окно с шумом отворяется, и Хромой видит улетающую осу.

Воздух, Хромой и оса празднуют свою свободу.

Дочь Альбиона

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

– Господа дома? – спросил предводитель.

– Никак нет-с. Барыня с детями в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул… Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

– Охота смертная, да участь горькая! – засмеялся Отцов. – Здравствуй, Иван Кузьмич!

– А… это ты? – спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. – Приехал?

– Как видишь… А ты всё еще своей ерундой занимаешься! Не отвык еще?

– Кой чёрт… Весь день ловлю, с утра… Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим и хоть бы один чёрт! Просто хоть караул кричи.

– А ты наплюй. Пойдем водку пить!

– Постой… Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше… Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня чёрт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью… с чертовкой с этой…

– Но… ты с ума сошел? – спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. – Бранишься при даме… и ее же…

– Да чёрт с ней! Всё одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани – ей всё равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду таращит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

– Удивляюсь, брат, я немало! – продолжал Грябов, – Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они… чёрт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

– Ну, перестань… Неловко… Что напал на женщину?

– Она не женщина, а девица… О женихах, небось, мечтает, чёртова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью… Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на всё смотрит… Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И всё это молча, важно и медленно.

– Видал? – спросил Грябов, хохоча. – Нате, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил… Нос точно у ястреба… А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Постой… У меня, кажется, клюет…

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась… Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

– Зацепилась! – сказал он и поморщился. – За камень, должно быть… Чёрт возьми…

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

– Экая жалость! В воду лезть надо.

– Да ты брось!

– Нельзя… Под вечер хорошо ловится… Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо… При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

– Мисс… эээ… – обратился он к англичанке. – Мисс Тфайс! Же ву при…[4] Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте… туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

– Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чёртова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там… Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

– Первый раз в жизни ее голос слышу… Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

– Плюнь! Пойдем водки выпьем!

– Нельзя, теперь ловиться должно… Вечер… Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться…

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

– Послушай, Иван Кузьмич, – сказал предводитель, хохоча в кулак. – Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

– Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами… По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

– Надо остынуть, – сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. – Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

– Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

– И хоть бы сконфузилась, подлая! – сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. – Брр… холодная вода… Посмотри, как бровями двигает! Не уходит… Выше толпы стоит! Хе-хе-хе… И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

– Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

---

[4] Я прошу вас (от *франц.* – Je vous prie).

Шведская спичка
(Уголовный рассказ)

I

Утром, 6 октября 1885 г., в канцелярию станового пристава 2-го участка С – го уезда явился прилично одетый молодой человек и заявил, что его хозяин, отставной гвардии корнет Марк Иванович Кляузов, убит. Заявляя об этом, молодой человек был бледен и крайне взволнован. Руки его дрожали и глаза были полны ужаса.

– С кем я имею честь говорить? – спросил его становой.

– Псеков, управляющий Кляузова. Агроном и механик.

Становой и понятые, прибывшие вместе с Псековым на место происшествия, нашли следующее. Около флигеля, в котором жил Кляузов, толпилась масса народу. Весть о происшествии с быстротою молнии облетела окрестности, и народ, благодаря праздничному дню, стекался к флигелю со всех окрестных деревень. Стоял шум и говор. Кое-где попадались бледные, заплаканные физиономии. Дверь в спальню Кляузова найдена была запертой. Изнутри торчал ключ.

– Очевидно, злодеи пробрались к нему через окно, – заметил при осмотре двери Псеков.

Пошли в сад, куда выходило окно из спальни. Окно глядело мрачно, зловеще. Оно было занавешено зеленой полинялой занавеской. Один угол занавески был слегка заворочен, что давало возможность заглянуть в спальню.

– Смотрел ли кто-нибудь из вас в окно? – спросил становой.

– Никак нет, ваше высокородие, – сказал садовник Ефрем, маленький седовласый старичок с лицом отставного унтера. – Не до гляденья тут, коли все поджилки трясутся!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, глядя на окно. – Говорил я тебе, что ты плохим кончишь! Говорил я тебе, сердяге, – не слушался! Распутство не доводит до добра!

– Спасибо Ефрему, – сказал Псеков, – без него мы и не догадались бы. Ему первому пришло на мысль, что здесь что-то не так. Приходит сегодня ко мне утром и говорит: «А отчего это наш барин так долго не просыпается? Целую неделю из спальни не выходит!» Как сказал он мне это, меня точно кто обухом… Мысль сейчас мелькнула… Он не показывался с прошлой субботы, а ведь сегодня воскресенье! Семь дней – шутка сказать!

– Да, бедняга… – вздохнул еще раз становой. – Умный малый, образованный, добрый такой. В компании, можно сказать, первый человек. Но распутник, царствие ему небесное! Я всего ожидал! Степан, – обратился становой к одному из понятых, – съезди сию минуту ко мне и пошли Андрюшку к исправнику, пущай доложит! Скажи: Марка Иваныча убили! Да забеги к уряднику – чего он там прохлаждается? Пущай сюда едет! А сам ты поезжай, как можно скорее, к следователю Николаю Ермолаичу и скажи ему, чтобы ехал сюда! Постой, я ему письмо напишу.

Становой расставил вокруг флигеля сторожей, написал следователю письмо и пошел к управляющему пить чай. Минут через десять он сидел на табурете, осторожно кусал сахар и глотал горячий, как уголь, чай.

– Вот-с… – говорил он Псекову. – Вот-с… Дворянин, богатый человек… любимец богов, можно сказать, как выразился Пушкин, а что из него вышло? Ничего! Пьянствовал, распутничал и… вот-с!.. убили.

Через два часа прикатил следователь. Николай Ермолаевич Чубиков (так зовут следователя), высокий, плотный старик лет шестидесяти, подвизается на своем поприще уже четверть столетия. Известен всему уезду как человек честный, умный, энергичный и любящий свое дело. На место происшествия прибыл с ним и его непременный спутник, помощник и письмоводитель Дюковский, высокий молодой человек лет двадцати шести.

– Неужели, господа? – заговорил Чубиков, входя в комнату Псекова и наскоро пожимая всем руки. – Неужели? Марка Иваныча? Убили? Нет, это невозможно! Не-воз-мож-но!

– Подите же вот… – вздохнул становой.

– Господи ты боже мой! Да ведь я же его в прошлую пятницу на ярмарке в Тарабанькове видел! Я с ним, извините, водку пил!

– Подите же вот… – вздохнул еще раз становой.

Повздыхали, поужасались, выпили по стакану чаю и пошли к флигелю.

– Расступись! – крикнул урядник народу.

Войдя во флигель, следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в желтую краску и неповрежденной. Особых примет, могущих послужить какими-либо указаниями, найдено не было. Приступлено было ко взлому.

– Прошу, господа, лишних удалиться! – сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь уступила топору и долоту. – Прошу это в интересах следствия… Урядник, никого не впускать!

Чубиков, его помощник и становой открыли дверь и нерешительно, один за другим, вошли в спальню. Их глазам представилось следующее зрелище. У единственного окна стояла большая деревянная кровать с огромной пуховой периной. На измятой перине лежало скомканное измятое одеяло. Подушка в ситцевой наволочке, тоже сильно помятая, валялась на полу. На столике перед кроватью лежали серебряные часы и серебряная монета двадцатикопеечного достоинства. Тут же лежали и серные спички. Кроме кровати, столика и единственного стула, другой мебели в спальне не было. Заглянув под кровать, становой увидел десятка два пустых бутылок, старую соломенную шляпу и четверть водки. Под столиком валялся один сапог, покрытый пылью. Окинув взглядом комнату, следователь нахмурился и покраснел.

– Мерзавцы! – пробормотал он, сжимая кулаки.

– А где же Марк Иваныч? – тихо спросил Дюковский.

– Прошу вас не вмешиваться! – грубо сказал ему Чубиков. – Извольте осмотреть пол! Это второй такой случай в моей практике, Евграф Кузьмич, – обратился он к становому, понизив голос. – В 1870 году был у меня тоже такой случай. Да вы, наверное, помните… Убийство купца Портретова. Там тоже так. Мерзавцы убили и вытащили труп через окно…

Чубиков подошел к окну, отдернул в сторону занавеску и осторожно пихнул окно. Окно отворилось.

– Отворяется, значит, не было заперто… Гм!.. Следы на подоконнике. Видите? Вот след от колена… Кто-то лез оттуда… Нужно будет как следует осмотреть окно.

– На полу ничего особенного не заметно, – сказал Дюковский. – Ни пятен, ни царапин. Нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она! Насколько я помню, Марк Иваныч не курил; в общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не шведские. Эта спичка может служить уликой…

– Ах… замолчите, пожалуйста! – махнул рукой следователь. – Лезет со своей спичкой! Не терплю горячих голов! Чем спички искать, вы бы лучше постель осмотрели!

По осмотре постели Дюковский отрапортовал:

– Ни кровяных, ни каких-либо других пятен… Свежих разрывов также нет. На подушке следы зубов. Одеяло облито жидкостью, имеющею запах пива и вкус его же… Общий вид постели дает право думать, что на ней происходила борьба.

– Без вас знаю, что борьба! Вас не о борьбе спрашивают. Чем борьбу-то искать, вы бы лучше…

– Один сапог здесь, другого же нет налицо.

– Ну, так что же?

– А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как…

– Понес!.. И почем вы знаете, что его задушили?

– На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной аршина.

– Толкует, пустомеля! Пойдемте-ка лучше в сад. Вы бы лучше в саду посмотрели, чем здесь рыться… Это я и без вас сделаю.

Придя в сад, следствие прежде всего занялось осмотром травы. Трава под окном была помята. Куст репейника под окном у самой стены оказался тоже помятым. Дюковскому удалось найти на нем несколько поломанных веточек и кусочек ваты. На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти.

– Какого цвета был его последний костюм? – спросил Дюковский у Псекова.

– Желтый, парусинковый.

– Отлично. Они, значит, были в синем.

Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцыбашев-Свистаковский и доктор Тютюев. Исправник поздоровался и тотчас же принялся удовлетворять свое любопытство; доктор же, высокий и в высшей степени тощий человек со впалыми глазами, длинным носом и острым подбородком, ни с кем не здороваясь и ни о чем не спрашивая, сел на пень, вздохнул и проговорил:

– А сербы опять взбудоражились! Что им нужно, не понимаю! Ах, Австрия, Австрия! Твои это дела!

Осмотр окна снаружи не дал решительно ничего; осмотр же травы и ближайших к окну кустов дал следствию много полезных указаний. Дюковскому удалось, например, проследить на траве длинную темную полосу, состоявшую из пятен и тянувшуюся от окна на несколько сажен в глубь сада. Полоса заканчивалась под одним из сиреневых кустов большим темно-коричневым пятном. Под тем же кустом был найден сапог, который оказался парой сапога, найденного в спальне.

– Это давнишняя кровь! – сказал Дюковский, осматривая пятна.

Доктор при слове «кровь» поднялся и лениво, мельком взглянул на пятна.

– Да, кровь, – пробормотал он.

– Значит, не задушен, коли кровь! – сказал Чубиков, язвительно поглядев на Дюковского.

– В спальне его задушили, здесь же, боясь, чтобы он не ожил, его ударили чем-то острым. Пятно под кустом показывает, что он лежал там относительно долгое время, пока они искали способов, как и на чем вынести его из сада.

– Ну, а сапог?

– Этот сапог еще более подтверждает мою мысль, что его убили, когда он снимал перед сном сапоги. Один сапог он снял, другой же, то есть этот, он успел снять только наполовину. Наполовину снятый сапог во время тряски и падения сам снялся…

– Сообразительность, посмотришь! – усмехнулся Чубиков. – Так и режет, так и режет! И когда вы отучитесь лезть со своими рассуждениями? Чем рассуждать, вы бы лучше взяли для анализа немного травы с кровью!

По осмотре и снятии плана местности следствие отправилось к управляющему писать протокол и завтракать. За завтраком разговорились.

– Часы, деньги и прочее… всё цело, – начал разговор Чубиков. – Как дважды два – четыре, убийство совершено не с корыстными целями.

– Совершено человеком интеллигентным, – вставил Дюковский.

– Из чего же это вы заключаете?

– К моим услугам шведская спичка, употребления которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют этакие спички только помещики, и то не все. Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое: двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это.

– К чему могла послужить ему его сила, ежели он, положим, спал?

– Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит не спал.

– Нечего выдумывать! Ешьте лучше!

– А по моему понятию, ваше высокоблагородие, – сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар, – пакость эту самую сделал никто другой, как Николашка.

– Весьма возможно, – сказал Псеков.

– А кто этот Николашка?

– Баринов камердинер, ваше высокоблагородие, – отвечал Ефрем. – Кому другому, как не ему? Разбойник, ваше высокоблагородие! Пьяница и распутник такой, что и не приведи царица небесная! Барину он водку завсегда носил, барина он укладывал в постелю… Кому же, как не ему? А еще тоже, смею предположить вашему высокоблагородию, похвалялся раз, шельма, в кабаке, что барина убьет. Из-за Акульки всё вышло, из-за бабы… Была у него солдатка такая… Барину она пондравилась, они ее к себе приблизили, ну, а он… известно, осерчал… На кухне пьяный валяется теперь. Плачет… Врет, что барина жалко…

– А действительно, из-за Акульки можно осерчать, – сказал Псеков. – Она солдатка, баба, но… Недаром Марк Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану… привлекательное…

– Видал… Знаю… – сказал следователь, сморкаясь в красный платок.

Дюковский покраснел и опустил глаза. Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминание об Акульке и Нане. Следователь приказал привести Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьян и еле держался на ногах.

– Где барин? – спросил его Чубиков.

– Убили, ваше высокоблагородие.

Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал.

– Знаем, что убили. А где он теперь? Тело-то его где?

– Сказывают, в окно вытащили и в саду закопали.

– Гм!.. О результатах следствия уже известно на кухне… Скверно. Любезный, где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть?

Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался.

– Не могу знать, ваше высокоблагородие, – сказал он. – Был выпимши и не помню.

– Alibi! – шепнул Дюковский, усмехаясь и потирая руки.

– Так-с. Ну, а отчего это у барина под окном кровь?

Николашка задрал вверх голову и задумался.

– Скорей думай! – сказал исправник.

– Сичас. Кровь эта от пустяка, ваше высокоблагородие. Курицу я резал. Я ее резал очень просто, как обыкновенно, а она возьми да и вырвись из рук, возьми да побеги… От этого самого и кровь.

Ефрем показал, что, действительно, Николашка каждый вечер режет кур и в разных местах, но никто не видел, чтобы недорезанная курица бегала по саду, чего, впрочем, нельзя отрицать безусловно.

– Alibi, – усмехнулся Дюковский. – И какое дурацкое alibi!

– С Акулькой знавался?

– Был грех.

– А барин у тебя сманил ее?

– Никак нет. У меня Акульку отбили вот они-с, господин Псеков, Иван Михайлыч-с, а у Ивана Михайлыча отбил барин. Так дело было.

Псеков смутился и принялся чесать себе левый глаз. Дюковский впился в него глазами, прочел смущение и вздрогнул. На управляющем увидел он синие панталоны, на которые ранее не обратил внимания. Панталоны напомнили ему о синих волосках, найденных на репейнике. Чубиков, в свою очередь, подозрительно взглянул на Псекова.

– Ступай! – сказал он Николашке. – А теперь позвольте вам задать один вопрос, г. Псеков. Вы, конечно, были в субботу под воскресенье здесь?

– Да, в десять часов я ужинал с Марком Иванычем.

– А потом?

Псеков смутился и встал из-за стола.

– Потом… потом… Право, не помню, – забормотал он. – Я много выпил тогда… Не помню, где и когда уснул… Чего вы на меня все так смотрите? Точно я убил!

– Где вы проснулись?

– Проснулся в людской кухне на печи… Все могут подтвердить. Как я попал на печь, не знаю…

– Вы не волнуйтесь… Акулину вы знали?

– Ничего нет тут особенного…

– От вас она перешла к Кляузову?

– Да… Ефрем, подай еще грибов! Хотите чаю, Евграф Кузьмич?

Наступило молчание – тяжелое, жуткое, длившееся минут пять. Дюковский молчал и не отрывал своих колючих глаз от побледневшего лица Псекова. Молчание нарушил следователь.

– Нужно будет, – сказал он, – сходить в большой дом и поговорить там с сестрой покойного, Марьей Ивановной. Не даст ли она нам каких-либо указаний.

Чубиков и его помощник поблагодарили за завтрак и пошли в барский дом. Сестру Кляузова, Марью Ивановну, сорокапятилетнюю деву, застали они молящейся перед высоким фамильным киотом. Увидев в руках гостей портфели и фуражки с кокардами, она побледнела.

– Приношу, прежде всего, извинение за нарушение, так сказать, вашего молитвенного настроения, – начал, расшаркиваясь, галантный Чубиков. – Мы к вам с просьбой. Вы, конечно, уже слышали… Существует подозрение, что ваш братец, некоторым образом, убит. Божья воля, знаете ли… Смерти не миновать никому, ни царям, ни пахарям. Не можете ли вы помочь нам каким-либо указанием, разъяснением…

– Ах, не спрашивайте меня! – сказала Марья Ивановна, еще более бледнея и закрывая лицо руками. – Ничего я не могу вам сказать! Ничего! Умоляю вас! Я ничего… Что я могу? Ах, нет, нет… ни слова про брата! Умирать буду, не скажу!

Марья Ивановна заплакала и ушла в другую комнату. Следователи переглянулись, пожали плечами и ретировались.

– Чёртова баба! – выругался Дюковский, выходя из большого дома. – По-видимому, что-то знает и скрывает. И у горничной что-то на лице написано… Постойте же, черти! Всё разберем!

Вечером Чубиков и его помощник, освещенные бледнолицей луной, возвращались к себе домой; они сидели в шарабане и подводили в своих головах итоги минувшего дня. Оба были утомлены и молчали. Чубиков вообще не любил говорить в дороге, болтун же Дюковский молчал в угоду старику. В конце пути, однако, помощник не вынес молчания и заговорил:

– Что Николашка причастен в этом деле, – сказал он, – non dubitandum est[5]. И по роже его видно, что он за штука… Alibi выдает его с руками и ногами. Нет также сомнения, что в этом деле не он инициатор. Он был только глупым, нанятым орудием. Согласны? Не последнюю также роль в этом деле играет и скромный Псеков. Синие панталоны, смущение, лежанье на печи от страха после убийства, alibi и Акулька.

– Мели, Емеля, твоя неделя. По-вашему, значит, тот и убийца, кто Акульку знал? Эх вы, горячка! Соску бы вам сосать, а не дела разбирать! Вы тоже за Акулькой ухаживали, – значит, и вы участник в этом деле?

– У вас тоже Акулька месяц в кухарках жила, но… я ничего не говорю. В ночь под то воскресенье я играл с вами в карты, видел вас, иначе бы я и к вам придрался. Дело, батенька, не в бабе. Дело в подленьком, гаденьком, скверненьком чувстве… Скромному молодому человеку не понравилось, видите ли, что не он верх взял. Самолюбие, видите ли… Мстить захотелось. Потом-с… Толстые губы его сильно говорят о чувственности. Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал? Что он, мерзавец, сгорает страстью – несомненно! Итак: оскорбленное самолюбие и неудовлетворенная страсть. Этого достаточно для того, чтобы совершить убийство. Двое в наших руках; но кто же третий? Николашка и Псеков держали. Кто же душил? Псеков робок, конфузлив, вообще трус. Николашки же не умеют душить подушкой; они действуют топором, обухом… Душил кто-то третий, но кто он?

Дюковский нахлобучил на глаза шляпу и задумался. Молчал он до тех пор, пока шарабан не подъехал к дому следователя.

– Эврика! – сказал он, входя в домик и снимая пальто. – Эврика, Николай Ермолаич! Не знаю только, как мне это раньше в голову не пришло. Знаете, кто третий?

– Отстаньте, пожалуйста! Вон ужин готов! Садитесь ужинать!

Следователь и Дюковский сели ужинать. Дюковский налил себе рюмку водки, поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, сказал:

– Так знайте же, что третий, действовавший заодно с негодяем Псековым и душивший, – была женщина! Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье Ивановне!

Чубиков поперхнулся водкой и уставил глаза на Дюковского.

– Вы… не тово? Голова у вас… не тово? Не болит?

– Я здоров. Хорошо, пусть я с ума сошел, но чем вы объясните ее смущение при нашем появлении? Как вы объясните ее нежелание давать показания? Допустим, что это пустяки – хорошо! ладно! – так вспомните про их отношения! Она ненавидела своего брата! Она староверка, он развратник, безбожник… Вот где гнездится ненависть! Говорят, что он успел убедить ее в том, что он аггел сатаны. При ней он занимался спиритизмом!

– Ну, так что же?

– Вы не понимаете? Она, староверка, убила его из фанатизма! Мало того, что она убила плевел, развратника, она освободила мир от антихриста – и в этом, мнит она, ее заслуга, ее религиозный подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, староверок! Прочитайте-ка Достоевского! А что пишут Лесков, Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! Она душила! О, ехидная баба! Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы отвести нам глаза? Дай, мол, стану и буду молиться, а они подумают, что я покойна, что я не ожидаю их! Это метод всех преступников-новичков. Голубчик, Николай Ермолаич! Родной мой! Отдайте мне это дело! Дайте мне лично довести его до конца! Милый мой! Я начал, я и до конца доведу!

Чубиков замотал головой и нахмурился.

– Мы и сами умеем трудные дела разбирать, – сказал он. – А ваше дело не лезть, куда не следует. Пишите себе под диктовку, когда вам диктуют, – вот ваше дело!

Дюковский вспыхнул, хлопнул дверью и вышел.

---

[5] Нет сомнения *(лат.)*.

– Умница, шельма! – пробормотал, глядя ему вслед, Чубиков. – Бо-ольшая умница! Горяч только некстати. Нужно будет ему на ярмарке портсигар в презент купить…

На другой день утром к следователю был приведен из Кляузовки молодой парень с большой головой и заячьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, дал очень интересное показание.

– Был я выпимши, – сказал он. – До полночи у кумы просидел. Идучи домой, спьяна полез в реку купаться. Купаюсь я… глядь! Идут по плотине два человека и что-то черное несут. «Тю!» – крикнул я на них. Они испужались и что есть духу давай стрекача к макарьевским огородам. Побей меня бог, коли то не барина волокли!

В тот же день перед вечером Псеков и Николашка были арестованы и отправлены под конвоем в уездный город. В городе они были посажены в тюремный замок.

II

Прошло двенадцать дней.

Было утро. Следователь Николай Ермолаич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал «кляузовское» дело; Дюковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол.

– Вы убеждены в виновности Николашки и Псекова, – говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. – Отчего же вы не хотите убедиться в виновности Марьи Ивановны? Вам мало улик, что ли?

– Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то… Улик настоящих нет, а всё какая-то философия… Фанатизм, то да се…

– А вам непременно подавай топор, окровавленные простыни!.. Юристы! Так я же вам докажу! Вы перестанете у меня так халатно относиться к психической стороне дела! Быть вашей Марье Ивановне в Сибири! Я докажу! Мало вам философии, так у меня есть нечто вещественное… Оно покажет вам, как права моя философия! Дайте мне только поездить.

– О чем это вы?

– Про шведскую спичку-с… Забыли? А я не забыл! Я узнаю, кто зажигал ее в комнате убитого! Зажигал не Николашка, не Псеков, у которых при обыске спичек не оказалось, а третий, то есть Марья Ивановна. И я докажу!.. Дайте только поездить по уезду, поразузнать…

– Ну, ладно, садитесь… Давайте допрос делать.

Дюковский сел за столик и уткнул свой длинный нос в бумаги.

– Ввести Николая Тетехова! – крикнул следователь.

Ввели Николашку. Николашка был бледен и худ как щепка. Он дрожал.

– Тетехов! – начал Чубиков. – В 1879 г. вы судились у судьи 1-го участка за кражу и были приговорены к тюремному заключению. В 1882 г. вы вторично судились за кражу и вторично попали в тюрьму… Нам всё известно…

На лице у Николашки выразилось удивление. Всеведение следователя изумило его. Но скоро удивление сменилось выражением крайней скорби. Он зарыдал и попросил позволения пойти умыться и успокоиться. Его увели.

– Ввести Псекова! – приказал следователь.

Ввели Псекова. Молодой человек за последние дни сильно изменился в лице. Он похудел, побледнел и осунулся. В глазах читалась апатия.

– Садитесь, Псеков, – сказал Чубиков. – Надеюсь, что сегодняшний раз вы будете благоразумны и не станете лгать, как те разы. Во все те дни вы отрицали свое участие в убийстве Кляузова, несмотря на всю массу улик, говорящих против вас. Это неразумно. Сознание облегчает вину. Сегодня я беседую с вами в последний раз. Если сегодня не сознаетесь, то завтра будет уже поздно. Ну, рассказывайте нам…

– Ничего я не знаю… И улик ваших не знаю, – прошептал Псеков.

– Напрасно-с! Ну, так позвольте же мне рассказать вам, как было дело. В субботу вечером вы сидели в спальне Кляузова и пили с ним водку и пиво (Дюковский вонзил свой взгляд в лицо Псекова и не отрывал его в продолжение всего монолога). Вам прислуживал Николай. В первом часу Марк Иванович заявил вам о своем желании ложиться спать. В первом часу он всегда ложился. Когда он снимал сапоги и отдавал вам приказания по хозяйству, вы и Николай, по данному знаку, схватили опьяневшего хозяина и опрокинули его на постель. Один из вас сел ему на ноги, другой на голову. В это время из сеней вошла известная вам женщина в черном платье, которая ранее условилась с вами относительно своего участия в этом преступном деле. Она схватила подушку и стала душить его ею. Во время борьбы потухла свеча. Женщина вынула из кармана коробку со шведскими спичками и зажгла свечу. Не так ли? Я по лицу вашему вижу, что говорю правду. Но далее. Задушив его и убедившись, что он не дышит, вы и Николай вытащили его через окно и положили около репейника. Боясь, чтобы он не ожил, вы ударили его чем-то острым. Затем вы понесли и положили его на некоторое время под сиреневый куст. Отдохнув и подумав, вы понесли его… Перенесли через плетень… Потом пошли по дороге… Далее следует плотина. Около плотины испугал вас какой-то мужик. Но что с вами?

Псеков, бледный как полотно, поднялся и зашатался.

– Мне душно! – сказал он. – Хорошо… пусть… Только я выйду… пожалуйста.

Псекова вывели.

– Наконец-таки сознался! – сладко потянулся Чубиков. – Выдал себя! Как я его ловко, однако! Так и засыпал…

– И женщину в черном не отрицает! – засмеялся Дюковский. – Но, однако, меня ужасно мучит шведская спичка! Не могу долее терпеть! Прощайте! Еду.

Дюковский надел фуражку и уехал. Чубиков начал допрашивать Акульку. Акулька заявила, что она знать ничего не знает…

– Жила я только с вами, а больше ни с кем! – сказала она.

В шестом часу вечера воротился Дюковский. Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно было, что он воротился не без новости.

– Veni, vidi, vici![6] – сказал он, влетая в комнату Чубикова и падая в кресло. – Клянусь вам честью, я начинаю веровать в свою гениальность. Слушайте, чёрт вас возьми совсем! Слушайте и удивляйтесь, старина! Смешно и грустно! В ваших руках уже есть трое… не так ли? Я нашел четвертого или, вернее – четвертую, ибо и эта есть женщина! И какая женщина! За одно прикосновение к ее плечам я отдал бы десять лет жизни! Но… слушайте… Поехал я в Кляузовку и давай вокруг нее описывать спираль. Посетил я на пути все лавочки, кабачки, погребки, спрашивая всюду шведские спички. Всюду мне говорили «нет». Колесил я до сей поры. Двадцать раз я терял надежду и столько же раз получал ее обратно. Валандался целый день и только час тому назад набрел на искомое. За три версты отсюда. Подают мне пачку из десяти коробочек. Одной коробки нет как нет… Сейчас: «Кто купил эту коробку?» Такая-то… «Пондравилось ей… пшикают». Голубчик мой! Николай Ермолаич! Что может иногда сделать человек, изгнанный из семинарии и начитавшийся Габорио, так уму непостижимо! С сегодняшнего дня начинаю уважать себя!.. Уффф… Ну, едем!

– Куда это?

– К ней, к четвертой… Поспешить нужно, иначе… иначе я сгорю от нетерпения! Знаете, кто она? Не угадаете! Молоденькая жена нашего станового, старца Евграфа Кузьмича, Ольга Петровна – вот кто! Она купила ту коробку спичек!

– Вы… ты… вы… с ума сошел?

[6] Пришел, увидел, победил! *(лат.)*

– Очень понятно! Во-первых, она курит. Во-вторых, она по уши была влюблена в Кляузова. Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки. Месть. Теперь я вспоминаю, как однажды застал их в кухне за ширмой. Она клялась ему, а он курил ее папиросу и пускал ей дым в лицо. Но, однако, поедемте… Скорее, а то уже темнеет… Поедемте!

– Я еще не сошел с ума настолько, чтобы из-за какого-нибудь мальчишки беспокоить ночью благородную, честную женщину!

– Благородная, честная… Тряпка вы после этого, а не следователь! Никогда не осмеливался бранить вас, а теперь вы меня вынуждаете! Тряпка! Халат! Ну, голубчик, Николай Ермолаич! Прошу вас!

Следователь махнул рукой и плюнул.

– Прошу вас! Прошу не для себя, а в интересах правосудия! Умоляю, наконец! Сделайте мне одолжение хоть раз в жизни!

Дюковский стал на колени.

– Николай Ермолаич! Ну, будьте так добры! Назовите меня подлецом, негодяем, если я заблуждаюсь относительно этой женщины! Дело ведь какое! Дело-то! Роман, а не дело! На всю Россию слава пойдет! Следователем по особо важным делам вас сделают! Поймите вы, неразумный старик!

Следователь нахмурился и нерешительно протянул руку к шляпе.

– Ну, чёрт с тобой! – сказал он. – Едем.

Было уже темно, когда шарабан следователя подкатил к крыльцу станового.

– Какие мы свиньи! – сказал Чубиков, берясь за звонок. – Беспокоим людей.

– Ничего, ничего… Не робейте… Скажем, что у нас рессора лопнула.

Чубикова и Дюковского встретила на пороге высокая полная женщина, лет двадцати трех, с черными, как смоль, бровями и жирными, красными губами. Это была сама Ольга Петровна.

– Ах… очень приятно! – сказала она, улыбаясь во всё лицо. – Как раз к ужину поспели. Моего Евграфа Кузьмича нет дома… У попа засиделся… Но мы и без него обойдемся… Садитесь! Вы это со следствия?..

– Да-с… У нас, знаете ли, рессора лопнула, – начал Чубиков, войдя в гостиную и усаживаясь в кресло.

– Вы сразу… ошеломите! – шепнул ему Дюковский. – Ошеломите!

– Рессора… Мм… да… Взяли и заехали.

– Ошеломите, вам говорят! Догадается, коли канителить будете!

– Ну, так делай, как сам знаешь, а меня избавь! – пробормотал Чубиков, вставая и отходя к окну. – Не могу! Ты заварил кашу, ты и расхлебывай!

– Да, рессора… – начал Дюковский, подходя к становихе и морща свой длинный нос. – Мы заехали не для того, чтобы… эээ… ужинать и не к Евграфу Кузьмичу. Мы приехали затем, чтобы спросить вас, милостивая государыня: где находится Марк Иванович, которого вы убили?

– Что? Какой Марк Иваныч? – залепетала становиха, и ее большое лицо вдруг, в один миг, залилось алой краской. – Я… не понимаю.

– Спрашиваю вас именем закона! Где Кляузов? Нам всё известно!

– Через кого? – спросила тихо становиха, не вынося взгляда Дюковского.

– Извольте указать нам – где он!?

– Но откуда вы узнали? Кто вам рассказал?

– Нам всё известно-с! Я требую именем закона!

Следователь, ободренный замешательством становихи, подошел к ней и сказал:

– Укажите нам, и мы уйдем. Иначе же мы…

– На что он вам?

– К чему эти вопросы, сударыня? Мы вас просим указать! Вы дрожите, смущены… Да, он убит, и, если хотите, убит вами! Сообщники выдали вас!

Становиха побледнела.

– Пойдемте, – сказала она тихо, ломая руки. – Он у меня в бане спрятан. Только, ради бога, не говорите мужу! Умоляю вас! Он не вынесет.

Становиха сняла со стены большой ключ и повела своих гостей через кухню и сени во двор. На дворе было темно. Накрапывал мелкий дождь. Становиха пошла вперед. Чубиков и Дюковский зашагали за ней по высокой траве, вдыхая в себя запахи дикой конопли и помоев, всхлипывавших под ногами. Двор был большой. Скоро кончились помои, и ноги почувствовали вспаханную землю. В темноте показались силуэты деревьев, а между деревьями – маленький домик с покривившеюся трубой.

– Это баня, – сказала становиха. – Но умоляю вас, не говорите никому!

Подойдя к бане, Чубиков и Дюковский увидели на дверях огромнейший висячий замок.

– Приготовьте огарок и спички! – шепнул следователь своему помощнику.

Становиха отперла замок и впустила гостей в баню. Дюковский чиркнул спичкой и осветил предбанник. Среди предбанника стоял стол. На столе рядом с маленьким толстеньким самоваром стоял супник с остывшими щами и блюдо с остатками какого-то соуса.

– Дальше!

Вошли в следующую комнату, в баню. Там тоже стоял стол. На столе большое блюдо с окороком, бутыль с водкой, тарелки, ножи, вилки.

– Но где же… этот? Где убитый? – спросил следователь.

– Он на верхней полочке! – прошептала становиха, всё еще бледная и дрожащая.

Дюковский взял в руки огарок и полез на верхнюю полку. Там он увидел длинное человеческое тело, лежавшее неподвижно на большой пуховой перине. Тело издавало легкий храп…

– Нас морочат, чёрт возьми! – закричал Дюковский.

– Это не он! Здесь лежит какой-то живой болван. Эй, кто вы, чёрт вас возьми?

Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалось. Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову.

– Кто это лезет? – спросил охрипший, тяжелый бас. – Тебе что нужно?

Дюковский поднес к лицу неизвестного огарок и вскрикнул. В багровом носе, взъерошенных, нечесаных волосах, в черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен и с нахальством глядел вверх на потолок, он узнал корнета Кляузова.

– Вы… Марк… Иваныч?! Не может быть! – Следователь взглянул наверх и замер…

– Это я, да… А это вы, Дюковский! Какого дьявола вам здесь нужно? А там, внизу, что еще за рожа? Батюшки, следователь! Какими судьбами?

Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь.

– Какими путями? Выпьем, чёрт возьми! Тра-та-ти-то-том… Выпьем! Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? Впрочем, всё равно! Выпьем!

Кляузов зажег лампу и налил три рюмки водки.

– То есть, я тебя не понимаю, – сказал следователь, разводя руками. – Ты это или не ты?

– Будет тебе… Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведемте ж, друзья-я, эту… Чего смотрите? Пейте!

– Все-таки я не могу понять, – сказал следователь, машинально выпивая водку. – Зачем ты здесь?

– Почему же мне не быть здесь, ежели мне здесь хорошо?

Кляузов выпил и закусил ветчиной.

– Живу у становихи, как видишь. В глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей! Жалко, брат, мне ее стало! Сжалился, ну, и живу здесь, в заброшенной бане, отшельником… Питаюсь. На будущей неделе думаю убраться отсюда… Уж надоело…

– Непостижимо! – сказал Дюковский.

– Что же тут непостижимого?

– Непостижимо! Ради бога, как попал ваш сапог в сад?

– Какой сапог?

– Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду.

– А вам для чего это знать? Не ваше дело… Да пейте же, чёрт вас возьми. Разбудили, так пейте! Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле. Не в духе, знаешь, был, подшофе… Она приходит под окно и начинает ругаться… Знаешь, как бабы… вообще… Я, спьяна, возьми да и пусти в нее сапогом… Ха-ха… Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу, да и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь… Любовь, водка и закуска! Но куда вы? Чубиков, куда ты?

Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такою скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице.

Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал «Ниву».

– Дела-то какие на белом свете! – сказал он, встречая следователя, с грустной улыбкой. – Опять Австрия того!.. И Гладстон тоже некоторым образом…

Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся.

– Скелет чёртов! Не лезь ко мне! Тысячу раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своею политикой! Не до политики тут! А тебе, – обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком, – а тебе… во веки веков не забуду!

– Но… шведская спичка ведь! Мог ли я знать!

– Подавись своей спичкой! Уйди и не раздражай, а то я из тебя чёрт знает что сделаю! Чтобы и ноги твоей не было!

Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел.

– Пойду запью! – решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир.

Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной.

– Зачем следователь приезжал? – спросил муж.

– Приезжал сказать, что Кляузова нашли. Вообрази, нашли его у чужой жены!

– Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч! – вздохнул становой, поднимая вверх глаза. – Говорил я тебе, что распутство не доводит до добра! Говорил я тебе, – не слушался!

Отставной раб

– Наша речка извивалась змейкой, словно зигзага… Бежала она по полю изгибами, вертикулясами этакими, как поломанная… Когда, бывало, на гору взлезешь и вниз посмотришь, то всю ее, как на ладонке, видать. Днем она как зеркало, а ночью ртутью отливает. По бережку камыш стоит и в воду поглядывает… Красота! Тут камыш, там ивнячок, а там вербы…

Так расписывал Никифор Филимоныч, сидя в портерной за столиком и глотая пиво. Говорил он с увлечением, с жаром… Его морщинистое бритое лицо и коричневая шея вздрагивали и подергивались судорогой всякий раз, когда он подчеркивал в своем рассказе какое-либо особенно поэтическое место. Слушала его хорошенькая шестнадцатилетняя сиделица, Таня. Лежа грудью на прилавке и подперев голову кулаками, она, изумляясь, бледнея и не мигая глазами, восторженно ловила каждое слово.

Никифор Филимоныч каждый вечер бывал в портерной и беседовал с Таней. Любил он ее за сиротство и тихую ласковость, которою залито было всё ее бледное востроглазое лицо. А кого он любил, тому отдавал все тайны своего прошлого. Начинал он беседы обыкновенно с самого начала – с описания природы. С природы переходил он на охоту, с охоты – на личность покойного барина, князя Свинцова.

– Знаменитый был человек! – рассказывал он про князя. – Славен он был не столько богатством и широтою земель, сколько характером. Он был донжуан-с.

– А что значит донжуан?

– Это обозначает, что он до женского пола большой донжуан был. Любил вашего брата. Всё свое состояние на женский пол провалил. Да-с… А когда мы в Москве жили, у нас в грандателе почти весь верхний этаж на наши средства существовал. В Петербурге мы с баронессой фон Туссих большие связи имели и дитятю прижили. Баронесса эта самая в одну ночь всё свое состояние в штосс проиграла и руки на себя наложить хотела, а князь не дал ей жизнь прикончить. Красивая была, молодая такая… Год с ним попуталась и померла… А как женщины любили его, Танечка! Как любили! Жить без него не могли!

– Он был красив?

– Какой… Старый был, некрасивый… Вот и вы бы, Танечка, ему понравились… Он любил таких худеньких, бледненьких… Вы не конфузьтесь. Чего конфузиться? Не врал я во веки веков и теперь не вру-с…

Потом Никифор Филимоныч принимался за описание экипажей, лошадей, нарядов… Во всем этом он знал толк. Потом начинал перечислять вина.

– А есть такие вина, что четвертную за бутылку стоит. Выпьешь ты рюмку, а у тебя в животе делается, словно ты от радости помер.

Тане более всего нравилось описание тихих лунных ночей… Летом шумная оргия в зелени, среди цветов, а зимой – в санях с теплой полостью, в санях, которые летят как молния.

– Летят санки-с, а вам кажется, что луна бежит… Чудно-с!

Долго рассказывал таким образом Никифор Филимоныч. Оканчивал он, когда мальчишка тушил над дверью фонарь и вносил в портерную дверную вывеску.

В один зимний вечер Никифор Филимоныч лежал пьяный под забором и простудился. Его свезли в больницу. Выписавшись через месяц из больницы, он уже не нашел в портерной своей слушательницы. Она исчезла.

Через полтора года шел Никифор Филимоныч в Москве по Тверской и продавал поношенное летнее пальто. Ему встретилась его любимица, Таня. Она, набеленная, расфранченная, в шляпе с отчаянно загнутыми полями, шла под руку с каким-то господином в цилиндре и чему-то громко хохотала… Старик поглядел на нее, узнал, проводил глазами и медленно снял шапку. По его лицу пробежало умиление, на глазах сверкнула слезинка.

– Ну, дай бог ей… – прошептал он. – Она хорошая.

И, надевши шапку, он тихо засмеялся.

Толстый и тонкий

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком – его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом – его сын.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь… Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах… лютеранка… А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

– В гимназии вместе учились! – продолжал тонкий. – Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо… Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе… А это моя жена, урожденная Ванценбах… лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

– Ну, как живешь, друг? – спросил толстый, восторженно глядя на друга. – Служишь где? Дослужился?

– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое… ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству… Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился… Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился… Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились… Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира…

– Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

– Ну, полно! – поморщился толстый. – Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!

– Помилуйте… Что вы-с… – захихикал тонкий, еще более съеживаясь. – Милостивое внимание вашего превосходительства… вроде как бы живительной влаги… Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил… жена Луиза, лютеранка, некоторым образом…

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

Клевета

Учитель чистописания Сергей Капитоныч Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые напрокат из клуба лакеи в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктыч Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. В окна со двора засматривали люди, по своему социальному положению не имевшие права войти внутрь.

Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, всё ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом.

– Покажи-ка мне, матушка, осетра! – сказал Ахинеев, потирая руки и облизываясь. – Запах-то какой, миазма какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-кася, покажи осетра!

Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла засаленный газетный лист. Под этим листом, на огромнейшем блюде, покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились. Он нагнулся и издал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами.

– Ба! Звук горячего поцелуя… Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша? – послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженая голова помощника классных наставников, Ванькина. – С кем это ты? А-а-а… очень приятно! С Сергей Капитонычем! Хорош дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет!

– Я вовсе не целуюсь, – сконфузился Ахинеев, – кто это тебе, дураку, сказал? Это я тово… губами чмокнул в отношении… в рассуждении удовольствия… При виде рыбы…

– Рассказывай!

Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел.

«Чёрт знает что! – подумал он. – Пойдет теперь, мерзавец, и насплетничает. На весь город осрамит, скотина…»

Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону: где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухарски изогнувшись, шептал что-то смеявшейся свояченице инспектора.

«Это про меня! – подумал Ахинеев. – Про меня, чтоб его разорвало! А та и верит… и верит! Смеется! Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить… нет… Нужно будет сделать, чтоб ему не поверили… Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется».

Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа.

– Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался, – сказал он французу. – Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, осетр, вво! В два аршина! Хе-хе-хе… Да, кстати… чуть было не забыл… В кухне-то сейчас, с осетром с этим – сущий анекдот! Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанья оглядеть… Гляжу на осетра и от удовольствия… от пикантности губами чмок! А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит… ха-ха-ха… и говорит: «А-а-а… вы

целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой! Выдумал же, глупый человек! У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похожа, а он… целоваться! Чудак!

– Кто чудак? – спросил подошедший Тарантулов.

– Да вон тот. Ванькин! Вхожу, это, я в кухню…

И он рассказал про Ванькина.

– Насмешил, чудак! А по-моему, приятней с барбосом целоваться, чем с Марфой, – прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел сзади себя Мзду.

– Мы насчет Ванькина, – сказал он ему. – Чудачина! Входит, это, в кухню, увидел меня рядом с Марфой да и давай штуки разные выдумывать. «Чего, говорит, вы целуетесь?» Спьяна-то ему примерещилось. А я, говорю, скорей с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня и жена есть, говорю, дурак ты этакий. Насмешил!

– Кто вас насмешил? – спросил подошедший к Ахинееву отец-законоучитель.

– Ванькин. Стою я, знаете, в кухне и на осетра гляжу…

И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю с осетром и Ванькиным.

«Пусть теперь им рассказывает! – думал Ахинеев, потирая руки. – Пусть! Он начнет рассказывать, а ему сейчас: «Полно тебе, дурак, чепуху городить! Нам всё известно!»

И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых в спальню, он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок, а на другой день он уже не помнил истории с осетром. Но, увы! Человек предполагает, а бог располагает. Злой язык сделал свое злое дело, и не помогла Ахинееву его хитрость! Ровно через неделю, а именно в среду после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высекина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону.

– Вот что, Сергей Капитоныч, – сказал директор. – Вы извините… Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять… Моя обязанность… Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой… с кухаркой… Не мое это дело, но… Живите с ней, целуйтесь… что хотите, только, пожалуйста, не так гласно! Прошу вас! Не забывайте, что вы педагог!

Ахинеев озяб и обомлел. Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем… Дома ожидала его новая беда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.